

— Что ты здесь еще делаешь! — Ее голос не был злым, но и любезным не был; Сильвия досадовала.

— А где прикажешь мне быть? — спросила Ирена.

— У себя!

— Ты хочешь сказать, что здесь я больше не у себя?

Разумеется, Сильвия не собиралась выдворять Ирену из Франции или намекать, что она нежеланная чужестранка: — Ты же понимаешь, что я хотела сказать!

— Конечно, понимаю, но разве ты забыла, что здесь у меня работа? квартира? дети?

— Послушай, я знаю Густава. Он сделает все, чтобы ты могла вернуться на родину. А что касается твоих дочерей, оставь эти небылицы! У них своя жизнь! Бог мой, Ирена, ведь то, что творится у вас, просто оше-

ломляет! В такие времена дела всегда утрясаются сами собой.

— И все же, Сильвия! Речь не только о делах практических, о работе, квартире. Я живу здесь уже двадцать лет. Здесь вся моя жизнь!

— У вас революция! — Она произнесла это голосом, исключаям возражения. Потом умолкла. Своим молчанием она хотела дать понять Ирене, что в пору великих потрясений непозволительно стоять в стороне.

— Но если я вернусь на родину, мы уже никогда не увидимся, — сказала Ирена, пытаясь пронять подругу.

Эта сентиментальная демагогия не принесла особых плодов. Голос Сильвии потеплел: — Дорогая, я приеду повидаться с тобой! Это я обещаю, обещаю!

Они сидели друг против друга, перед ними — две давно опустевшие кофейные чашки. Сильвия наклонилась и сжала подруге руку, в ее глазах Ирена увидела слезы волнения: — Это будет твое великое возвращение. — И повторила: — Твое великое возвращение.

Эти дважды сказанные слова обрели такую силу, что мысленным взором Ирена увидела их написанными с заглавных букв: Ве-

Неведение

ликое Возвращение. Она перестала упираться, захваченная внезапно нахлынувшими образами давно прочитанных книг, фильмов, собственной памяти и, возможно, памяти предков: пропавший сын, вновь обретающий свою старую мать; мужчина, возвращающийся к своей возлюбленной, с которой когда-то разлучил его неумолимый рок; отчий дом, чей образ живет в каждом из нас; вновь обнаруженная тропка, хранящая следы утерянных шагов детства; Одиссей, вновь озирающий свой остров после долгих лет блужданий; возвращение, возвращение, великая магия возвращения.

Возвращение по-гречески *nostos*. *Algos* означает страдание. Стало быть, ностальгия — это страдание, причиненное неутолимой жаждой возвращения. Для выражения этого исконного понятия большинство европейцев могут использовать слово греческого происхождения (*nostalgie, nostalgia*), равно как и слова, корни которых взяты из национального языка: *añoranza*, говорят испанцы; *saudade*, говорят португальцы. В каждом языке эти слова имеют свой семантический оттенок. Часто они означают только печаль, вызванную невозможностью возвращения на родину. Тоска по родине. Тоска по своему дому. То, что по-английски звучит: *homesickness*. Или по-немецки: *Heimweh*. Но это пространственное сужение великого понятия. Один из самых древних европейских языков, исландский, четко

Неведение

различает два термина: *söknudur*: ностальгия в ее обобщенном значении; и *heimfra*: тоска по родине. Чехи наряду с греческим словом *nostalgie* используют для выражения этого понятия собственное существительное, *stesk*, и собственный глагол; самая трепетная чешская фраза любви: *stýská se mi po tobě*: я тоскую по тебе; твое отсутствие для меня невыносимо. Испанское *añoranza* — производное от глагола *añorar* (испытывать ностальгию) восходит к каталонскому *enyorar*, что в свою очередь ведет начало от латинского *ignorare* (не знать, быть в неведении). В таком этимологическом освещении ностальгия предстает как страдание от неведения. Ты далеко, и я не знаю, что с тобой. Моя страна далеко, и я не знаю, что там происходит.

Еще на заре античной греческой культуры родилась «Одиссея», основополагающая эпопея ностальгии. Подчеркнем: Одиссей, величайший искатель приключений всех времен, есть и величайший ностальгик. Он отправился (без особого удовольствия) на Троянскую войну и провел там десять лет. Затем поспешил вернуться в родную Итаку, но интриги богов растянули его плавание на три года, насыщенных самыми

фантастическими происшествиями, а там еще на семь лет, которые он провел заложником и любовником богини Калипсо, влюбленной в него и оттого не позволявшей ему покинуть ее остров.

В пятой песне Одиссей говорит ей: «Я знаю, Пенелопа при всей своей мудрости в сравнении с тобой теряет величие и красоту... И все же единственный обет, который я ежедневно возлагаю на себя, это вернуться туда, пережить день возвращения в родном доме». И Гомер продолжает: «Пока Одиссей говорил, солнце закатилось; настали сумерки: они прошли под сводом в глубину пещеры и, заключив друг друга в объятия, отдались любви».

В жизни бедной эмигрантки, какой давно стала Ирена, ничего подобного не случилось. Одиссей прожил у Калипсо поистине *dolce vita*, жизнь в удовольствиях, жизнь в радостях. И все же, выбирая между *dolce vita* на чужбине и рискованным возвращением домой, он предпочел возвращение. Страстному постижению неведомого (приключению) он предпочел апофеоз ведомого (возвращение). Бесконечному (ибо приключение никогда не мыслится законченным) он предпочел конечное (ибо возвращение есть примирение с конечностью жизни).

Неведение

Не разбудив Одиссея, феакийские мореходцы перенесли его на покрытом простыней ковре на берег Итаки, под сень оливкового дерева, и отплыли. Таков был конец путешествия. Обессиленный, он долго спал. А пробудившись, не знал, где находится. Потом Афина отвела туман с его глаз, и настал пьянящий восторг; восторг Великого Возвращения; экстаз узнавания; музыка, всколыхнувшая воздух меж землю и небом: он видел пристань, знакомую с детства, нависшую над ней гору и погладил старое оливковое дерево, дабы убедиться, что оно осталось таким же, каким было двадцать лет назад.

В 1950 году, семнадцать лет спустя после переезда Арнольда Шёнберга в Америку, один журналист задал ему ряд коварно наивных вопросов: правда ли, что эмиграция лишает художников творческой силы? И что вдохновение усыхает, как только корни родины перестают его питать?

Подумать только! Пять лет спустя после Холокоста! И американский журналист не может простить Шёнбергу, что он не испытывает привязанности к той части земли, где на его глазах наступала пора ужаса ужасов! Но делать нечего. Гомер увенчал но-

Милан Кундера

стальгию лаврами и тем самым предопределил нравственную иерархию чувств. Пенелопа стоит в ней на самой вершине, гораздо выше, чем Калипсо.

Калипсо, ах, Калипсо! Я часто думаю о ней. Она любила Одиссея. Они прожили вместе семь лет. Никому не ведомо, сколько времени Одиссей делил ложе с Пенелопой, но наверняка не так долго. Тем не менее страдания Пенелопы превозносятся, а над слезами Калипсо глумятся.

Великие даты, словно удары топора, помечают европейское двадцатое столетие глубокими зарубками. Первая война 1914 года, вторая, затем третья, самая продолжительная, названная холодной, завершившаяся в 1989 году падением коммунизма. Помимо этих великих дат, затрагивающих всю Европу, даты менее значимые определяют судьбы отдельных наций: 1936 год — гражданская война в Испании; 1956 год — русское вторжение в Венгрию; 1948 год, когда югославы взбунтовались против Сталина, и 1991-й, когда они стали убивать друг друга. Скандинавы, голландцы, англичане пользовались привилегией не ведать ни одной важной даты после 1945 года, что позволило им прожить сладостно ничтожную половину столетия.

История чехов в этом столетии озарена замечательной математической красотой

благодаря тройному повторению числа двадцать. В 1918 году они обрели, по прошествии многих веков, независимое государство, а в 1938-м потеряли его.

В 1948 году коммунистическая революция, импортированная из Москвы, террором проложила путь очередному двадцатилетию, завершившемуся в 1968-м, когда русские, разъяренные дерзким раскрепощением чехов, наводнили страну полумиллионом солдат.

Оккупационная власть прочно утвердилась к осени 1969-го, а осенью 1989-го тихо, вежливо, нежданно для всех, сошла со сцены, как и все остальные коммунистические режимы Европы: третье двадцатилетие.

Только в нашем столетии исторические даты с такой ненасытностью овладевали жизнью каждого из нас. И невозможно понять жизнь Ирены во Франции, предварительно не осмыслив эти даты. В 50–60-е годы эмигрант из коммунистических стран не вызывал особого сочувствия; французы в ту пору истинным злом считали исключительно фашизм: Гитлера, Муссолини, Испанию Франко, латиноамериканские диктатуры. Лишь постепенно, к концу 60-х и на протяжении 70-х годов до них стало доходить, что и коммунизм зло, хотя зло низшего разряда, зло, так сказать, номер два. Именно в это время,

Неведение

в 1969 году, Ирена и ее муж эмигрировали во Францию. Они быстро осознали, что, по сравнению со злом номер один, катастрофа, постигшая их родину, была не столь кровавой, чтобы впечатлить новых друзей. Стремясь объясниться, они, как правило, говорили примерно следующее:

«Какой бы чудовищной ни была фашистская диктатура, она исчезнет вместе со своим диктатором, так что люди могут лелеять надежду. Напротив, коммунизм, вскормленный безбрежной российской цивилизацией, остается для Польши, для Венгрии (не говоря уж об Эстонии!) тоннелем, из которого нет выхода. Диктаторы смертны, Россия вечна. Именно в полном отсутствии надежды и заключается несчастье тех стран, откуда мы приезжаем».

Они именно так выражали свою мысль, и Ирена, дабы подкрепить ее, приводила строфу из Яна Скацела, чешского поэта той поры: он говорит об окружающей его печали; ему хотелось бы объять ее, эту печаль, унести далеко, выстроить из нее дом, ему хотелось бы на триста лет запереться в нем и целых триста лет не открывать дверей, никому не открывать дверей!

Триста лет? Скацел написал эти строки в семидесятые годы и умер осенью 1989-го, за несколько дней до того, как трехсотлетняя

печаль, которую он видел перед собой, рассеялась в одночасье: люди запрудили пражские улицы, и связки ключей в их воздетых руках вызвонили приход новых времен.

Ошибался ли Скацел, говоря о трехсотлети? Конечно да. Все предсказания ошибочны, такова одна из немногих достоверных истин, данных человеку. Но хотя они и ошибочны, они выражают правду о тех, кто их изрекает, не об их будущем, а об их настоящем. В годы, названные мною первым двадцатилетием (между 1918-м и 1938-м), чехи полагали, что у их республики впереди бесконечность. Они ошибались, но именно потому, что они ошибались, они прожили эти годы в радости, приведшей к такому расцвету искусств, какой дотоле был им неведом.

После русского вторжения, не допуская ни малейшей мысли о близком падении коммунизма, они вновь увидели себя в пределах бесконечности, и не страдания реальной жизни, а безысходность будущего подточила их силы, подавила их смелость и сделала это третье двадцатилетие столь малодушным, столь жалким.

Убежденный, что своей двенадцатитоновой системой он открыл дальние перспективы истории музыки, Арнольд Шёнберг в 1921 году утверждал: благодаря ему пре-

Неведение

восходство (он не сказал «слава», он сказал «Vorherrschaft», «превосходство») немецкой музыки (уроженец Вены, он не сказал «австрийской», он сказал «немецкой») будет обеспечено на ближайшее столетие (я цитирую точно, он говорил о «столетии»). Двенадцать лет спустя после этого пророчества, в 1933 году, он как еврей был изгнан из пределов Германии (той самой Германии, которой собирался обеспечить ее «Vorherrschaft»), и вместе с ним вся музыка, основанная на двенадцатитоновой системе (осужденная как недоступная, элитарная, космополитическая и враждебная немецкому духу).

Предсказание Шёнберга, каким бы ошибочным оно ни было, остается, однако, непреложным для того, кто хочет постичь смысл его творчества, сознающего себя не разрушительным, недоступным для понимания, космополитическим, индивидуалистичным, сложным, абстрактным, но глубоко укорененным в «немецкой почве» (да, он говорил о «немецкой почве»); Шёнберг полагал, что он на пути к созданию не завораживающего эпилога истории великой европейской музыки (а именно так я склонен понимать его творчество), но пролога славного будущего, теряющегося в необозримой дали.

4

С первых же недель эмиграции Ирена видела странные сны: она в самолете, который меняет направление и совершает посадку на неведомом аэродроме; вооруженные люди в униформе ждут ее у подножия трапа; холодный пот проступает у нее на лбу, она узнает чешских полицейских. В другом сне она бродит по маленькому французскому городку и вдруг замечает странную группу женщин, каждая из них держит в руке пивную кружку, они подбегают, внезапно обращаясь к ней на чешском, смеются с коварной сердечностью, и Ирена в ужасе понимает, что находится в Праге, она вскрикивает, она просыпается.

Мартин, ее муж, видел те же сны. Что ни утро они рассказывали друг другу о пережитом ужасе возвращения в родные края. Потом, из разговора с приятельницей-полькой, тоже эмигранткой, Ирена поняла, что эти